

Алессандро Барикко

≈CITY≈



Барикко — автор, который рассказывает.
Ему удастся создать удивительные истории,
в героев которых веришь, пейзажи которых
видишь, а запахи чувствуешь.

Татьяна Снеговская-Ари

Алессандро Барикко
CITY
Серия «Иностранная
литература. Большие книги»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129521

CITY: СПб; 2012

ISBN 978-5-389-34867-7

Аннотация

Алессандро Барикко – один из самых ярких европейских писателей XXI века, автор обошедших весь мир бестселлеров «Шелк» и «Море океан», лауреат многих престижных литературных премий. Читателю «CITY» Алессандро Барикко предстоит увлекательное приключение: проходя лабиринт выстроенного автором города-романа, познакомиться с его реальными и воображаемыми персонажами, синусоидами сюжетов, рожденных воображением тринадцатилетнего вундеркинда и загадочной девушки Шатци. Он должен решить, что в этом призрачном виртуальном калейдоскопе круче – захватывающий вестерн, дворовый футбол, тезисы статьи об интеллектуальной честности или нескончаемый боксерский поединок, а также догадаться, при чем тут Ева Браун и Уолт Дисней.

Содержание

Пролог	6
1	34
2	40
3	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52



Алессандро Барикко

CITY

CITY

by Alessandro Baricco

Copyright © RCS Libri S. p. A., Milano, 1999

Перевод с итальянского

Евгении Дегтярь (пролог, гл. 1–12),

Владимира Петрова (гл. 13–35, эпилог)

© В. Петров, перевод, 2012

© Е. Дегтярь (наследник), перевод, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2012

Издательство АЗБУКА®

Пролог

– Итак, господин Клаузер, должна ли умереть Мами Джейн?

– Пошли все в жопу.

– Так да или нет?

– А вы что на это скажете?

В октябре 1987 года CRB – издательство, которое вот уже двадцать два года публиковало выпуски приключений легендарного Баллона Мака, – решило провести опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, насколько необходимо, чтобы Мами Джейн умерла. Баллон Мак был слепым супергероем, который днем работал дантистом, а по ночам сражался со Злом, благодаря необыкновенным свойствам своей слюны. Мами Джейн была его матерью. Читатели, в общем-то, привязались к ней, она коллекционировала древние индейские скальпы, а по вечерам исполняла басовую партию в негритянских блюзовых группах. А сама была белой.

Убрать Мами Джейн решил коммерческий директор CRB – очень солидный господин, единственной страстью которого были детские железные дороги. Он утверждал, что Баллон Мак зашел в тупик и нуждается в новых мотивациях. Смерть матери Мака под поездом, когда она убегала бы от преследования стрелочника-параноика, превратила бы его в гремучую смесь бешенства и горя, то есть в оплеванное изображе-

ние его среднестатистического читателя. Идея совершенно идиотская. Впрочем, среднестатистический читатель Баллона Мака и был идиотом.

Итак, в октябре 1987 года CRB освободила комнату на третьем этаже и посадила туда восемь девушек, в обязанности которых входило отвечать на телефонные звонки и собирать мнения читателей. Вопрос формулировался так: должна ли умереть Мама Джейн?

Из восьми девушек четверо являлись служащими CRB, две имели удостоверения социальных работников, одна была внучкой Президента. Последняя же, тридцати лет от роду, приехала из Помоны, где получила контракт на стажировку в CRB, победив в радиовикторине («Что Баллон Мак ненавидит больше всего на свете?» – «Шлифовать зубы»). Она всегда носила с собой маленький диктофон. Время от времени она включала его и наговаривала что-нибудь на пленку.

Ее звали Шатци Шелл.

В десять сорок пять на двенадцатый день референдума – когда мнения о возможной смерти Мама Джейн разделились в соотношении 64 к 30 (оставшиеся 6 процентов считали, что все должны идти в жопу, и звонили только затем, чтобы сообщить об этом) – Шатци Шелл услышала двадцать первый телефонный звонок, поставила на лежавшем перед ней бланке число 21 и сняла трубку. После чего произошел следующий разговор.

– CRB, добрый день.

– Добрый день, скажите, а Дизель уже приехал?

– Кто?

– Ясно, значит, еще не приехал...

– Простите, это CRB.

– Да, знаю.

– Вы, должно быть, ошиблись номером.

– Нет, все правильно, теперь послушайте...

– Простите...

– Да?

– Это CRB, референдум «Должна ли умереть Мами Джейн?».

– Спасибо, я знаю.

– Тогда представьтесь, будьте любезны.

– Это ни к чему...

– Но вы должны назваться, таков порядок.

– Ну ладно... Гульд... меня зовут Гульд.

– Господин Гульд.

– Да, господин Гульд, а теперь, если можно...

– Должна ли умереть Мами Джейн?

– Что-что?

– Вам следует сообщить свое мнение... Должна умереть Мами Джейн или нет.

– О господи...

– Вы ведь о ней слышали? Кто такая Мами Джейн?

– Конечно, слышал, но...

– Вот видите, вы должны только сказать, что вы думаете...

– Вы не хотите остановиться и выслушать меня?

– Да-да.

– Тогда сделайте одолжение и посмотрите вокруг.

– Я?

– Да.

– Здесь?

– Да, там, в комнате, доставьте мне такое удовольствие.

– Ну ладно, смотрю.

– Хорошо. Вы случайно не видите парня, стриженного под ноль, который держит за руку другого парня, огромного – честно, огромного, почти великана, в громадных ботинках и зеленой куртке?

– Кажется, нет.

– Точно?

– Точно.

– Хорошо. Значит, их еще нет.

– Нет.

– Ладно, тогда я хочу, чтобы вы кое-что знали.

– Что?

– Эти парни не такие уж плохие.

– Да?

– Да. Когда они придут, то начнут крушить все вокруг, то и дело хватать ваш телефон и наматывать телефонный провод вам на шею или еще на что-нибудь, но они не такие плохие, честно, только...

– Господин Гульд...

- Да?
- Если вы не против, скажите, сколько вам лет?
- Тринадцать.
- Тринадцать?
- Ну... двенадцать... Если точнее, двенадцать.
- Слушай, Гульд, мамы, случайно, нет рядом?
- Мама ушла четыре года назад, теперь она живет с профессором, который изучает рыб, рыбы повадки, он *этолог*, если уж точно.
- Прошу прощения.
- Не просите, такова жизнь, тут уж ничего не поделаешь.
- Правда?
- Правда. Не верите?
- Да... наверное, ты прав... точно не знаю, но, кажется, ты прав.
- Безнадежно прав.
- Так тебе в самом деле двенадцать лет?
- Завтра будет тринадцать, уже завтра.
- Классно.
- Классно.
- Поздравляю, Гульд.
- Спасибо.
- Вот увидишь, тринадцать лет – это классно.
- Надеюсь.
- Я правда тебя поздравляю.
- Спасибо.

– А твой отец где-то рядом, а?

– Нет. Он работает.

– Ах да, конечно.

– Отец работает на оборону.

– Классно.

– У вас всегда все классно, да?

– Что?

– У вас всегда все классно?

– Да... Наверное.

– Классно.

– То есть... Со мной такое случается.

– Везет же.

– Со мной это случается в самые неожиданные моменты.

– Говорю же – везет.

– Я была однажды в какой-то забегаловке на шоссе номер шестнадцать; сразу у въезда в город я увидела какую-то забегаловку, вошла и заняла очередь, а за кассой сидел вьетнамец, который почти ничего не понимал, так что очередь не продвигалась, ему заказывали гамбургер, а он переспрашивал: «Что?» – может, он работал только первый день, не знаю; тогда я стала озираться по сторонам: стояло пять или шесть столиков, и сидели люди, все лица у них были разные, и у каждого своя собственная еда, отбивная, булочка, соус чили, все они жевали, и каждый был одет в точности так, как хотел одеться, утром встал и выбрал какую-нибудь одежду, вон ту красную рубашку или пиджак, жмуший в подмышках,

именно то, что хотелось надеть, и вот теперь они здесь, и у каждого из них жизнь позади и жизнь впереди, а тут, внутри, они словно пребывали в переходном периоде, а завтра все сначала, синяя рубашка, длинное платье, и конечно же, у той блондинки с веснушками мать лежит в больнице с безнадежными анализами крови, а она сидит здесь, выбирает подгоревшие чипсы, читает газету, прислонив ее к солонке в форме бензонасоса, а вот этот, весь упакованный под бейсболиста, наверняка не выходил на площадку много лет и теперь сидит здесь со своим сыном, отвешивая ему подзатыльники, и каждый раз мальчик поправляет свою бейсболку, а отец – хлоп, и вновь подзатыльник, и все это во время еды, под телевизором, висящим на стене, с потухшим экраном, и уличный шум доносился с порывами ветра, а в углу сидели двое очень элегантных в сером, двое мужчин, и казалось, что один из них плачет, это было нелепо, но он плакал над бифштексом с картошкой, молча плакал, а другой был безупречен, перед ним тоже стоял бифштекс, он ел, и больше ничего, но в какой-то момент он поднялся, прошел к соседнему столику, взял бутылку кетчупа, вернулся на свое место и стоял, стараясь не запачкать свой серый костюм, а потом вылил немного кетчупа в тарелку того, который плакал, что-то прошептал ему, не знаю что, потом закрыл бутылку и снова начал есть, они сидели в углу, я смотрела на все это – на вишневое мороженое, растоптанное по полу, объявление «Не работает» на двери туалета, – ясно было, что про это

можно подумать только: «Как отвратно, ребята», настолько это было грустно и отвратно; и между тем, пока я стояла там в очереди, а вьетнамец так ничего и не понимал, что-то со мной произошло и я подумала: «Господи, как классно», мне даже немного хотелось смеяться, черт побери, до чего все это было классно, все правильно, до последней крошки еды на полу, до последней замусоленной салфеточки, хотелось смеяться, не зная почему, но зная, что все это правда было классно. Нелепо, да?

– Странно.

– Об этом стыдно рассказывать.

– Почему?

– Не знаю... нормальные люди такие вещи не рассказывают...

– Мне понравилось

– Брось...

– Нет, честно, особенно про кетчуп...

– Как он взял бутылку и вылил...

– Ну да.

– Весь в сером.

– Смешно.

– Точно.

– Точно.

– Гульд?

– Мм.

– Я рада, что ты позвонил.

– Э, нет, подождите...

– Я здесь.

– Как тебя зовут?

– Шатци.

– Шатци.

– Меня зовут Шатци Шелл.

– Шатци Шелл.

– Да.

– И никто не наматывает телефонный провод тебе на шею?

– Никто.

– Так, когда они придут, не забудь, что они неплохие.

– Вот увидишь, они не придут.

– Даже не мечтай, придут...

– Ну с какой стати, Гульд?

– Дизель *обожает* Маами Джейн. И у него рост два метра сорок семь сантиметров.

– Классно.

– Как сказать. Когда он *сильно* взбешен, совсем не классно.

– И сейчас он *сильно* взбешен?

– Ты бы тоже взбесилась, если бы они проводили референдум, чтобы убить Маами Джейн, а Маами Джейн была бы для тебя идеалом матери.

– Но это же только опрос, Гульд.

– Дизель говорит, что все это жульничество. Они уже дав-

ным-давно решили, что убьют ее, а референдум устраивают, чтобы хорошо выглядеть.

– Может, он ошибается.

– Дизель никогда не ошибается. Он верзила.

– Насколько он высокий?

– Настолько.

– Я была один раз с таким, который мог достать баскетбольную корзину, даже не вставая на цыпочки.

– Правда?

– И при этом он работал контролером в кино-театре.

– А ты его любила?

– Что за вопросы, Гульд?

– Ты сказала, что *была* с ним.

– Да, мы были вместе. Были вместе двадцать два дня.

– А потом?

– Не знаю... все было немножко *сложно*, понимаешь?

– Да... вот и с Дизелем все немножко сложно.

– Ну да.

– Отец заставил его построить уборную по росту, и с тех пор он несчастен.

– Я же говорю, что все немножко сложно.

– Ну да. Когда Дизель пытался пойти в школу, в Татон, и приехал туда утром...

– Гульд?

– Да.

– Извини, можешь подождать минутку, Гульд?

– О'кей.

– Не вешай трубку, хорошо?

– О'кей.

Шатци Шелл перевела линию в режим ожидания. Затем повернулась к мужчине, который стоял у стола, разглядывая ее. Начальник отдела развития и рекламы. Беллербаумер. Из тех, кто постоянно грызет дужку очков.

– Господин Беллербаумер?

Господин Беллербаумер прочистил горло.

– Вы занимаете телефон в течение двенадцати минут и все это время говорите о каких-то верзилах.

– Двенадцать минут?

– Вчера в течение двадцати семи минут вы оживленно беседовали с биржевым маклером, который в конце концов предложил вам выйти за него замуж.

– Он не знал, кто такая Мами Джейн, и мне пришлось...

– А в первый день вы занимали телефон час и одиннадцать минут, проверяя домашнее задание этого проклятушего мальчишки, который потом вместо ответа выдал: а почему бы не угробить самого Баллона Мака?

– А что, неплохая идея, а?

– Этот телефон – собственность CRB, и вам платят за то, чтобы вы произносили только одну проклятушую фразу: должна ли умереть Мами Джейн?

– Я стараюсь делать все, что в моих силах.

– Я тоже. Вот поэтому я вас увольняю.

- Что-что?
- Я вынужден вас уволить.
- Вы не шутите?
- К сожалению.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Господин Беллербаумер?
- Я слушаю.
- Вас очень обременит, если я закончу разговор?
- Какой разговор?
- Телефонный. На линии молодой человек, он ждет.
- ...
- ...
- Заканчивайте.
- Спасибо.
- Не за что.
- Гульд?
- Слушаю.
- Знаешь, нам придется расстаться, Гульд.
- О'кей.
- Меня только что уволили.
- Классно.
- Вот уж не знаю.
- Зато теперь тебя не задушат.

– Кто?

– Дизель и Пумеранг.

– Верзила?

– Верзила – это Дизель. А Пумеранг – это другой, который без волос. Он немой.

– Пумеранг.

– Да. Немой. Он не разговаривает. Слышит, но не говорит.

– Их задержат у входа.

– Эти двое вообще никогда не останавливаются.

– Гульд?

– Да.

– Должна ли умереть Мами Джейн?

– Пошли все в жопу.

– «Не знаю». О'кей.

– Скажи мне одну вещь, Шатци.

– Я уже должна идти.

– Только одну.

– Говори.

– Вот это место... ну, та забегаловка...

– Да...

– Я вот что подумал... Наверное, это неплохое местечко...

– Да.

– Я подумал, что мне было бы приятно отпраздновать там свой день рождения.

– В каком смысле?

– Завтра... у меня день рождения... можно было бы нам

всем там посидеть; может, там еще будут эти двое в сером, которые с кетчупом.

– Ну и странная же мысль, Гульд.

– Ты, я, Дизель и Пумеранг. Я угощаю.

– Не знаю.

– Клянусь, это отличная мысль.

– Может быть.

– 85-56-74-18.

– Что это?

– Номер моего телефона, если ты позвонишь мне, ладно?

– Не верится, что тебе тринадцать лет.

– Завтра исполнится, если быть точным.

– Ну да.

– Тогда договорились.

– Да.

– Договорились.

– Гульд?

– Да.

– Пока.

– Пока, Шатци.

– Пока.

Шатци Шелл нажала голубую клавишу и отключила связь. Она принялась потихоньку складывать свои вещи в желтую сумочку, на сумочке была надпись: «Спаси планету Земля от педикюра». Еще она захватила снимки Уолта Диснея и Евы Браун в рамках. И маленький диктофон, который всегда но-

сила с собой. Время от времени она включала его и наговаривала что-нибудь на пленку. Остальные семь девушек молча смотрели на нее, а тем временем телефоны звонили по-чем зря, замораживая ценную информацию о будущем Мами Джейн. Поскольку ей было что сказать, Шатци Шелл сказала, снимая кроссовки и переобуваясь в туфли на каблуках:

– Да, так вот, имейте в виду, через некоторое время в эту дверь войдут верзила и безволосый тип, немой, они всё разобьют и всех передушат телефонными проводами. Верзилу зовут Дизель, а немого – Пумеранг. Или наоборот, точно не помню. Как бы там ни было, они в общем-то хорошие.

Фотокарточка Евы Браун была обрамлена красным пластиком, а за подложкой на случай необходимости торчала складная подставка. Лицо на снимке было действительно лицом Евы Браун.

– Ясно?

– Вроде того.

– Пианист располагался на первом этаже огромного коммерческого центра, прямо под движущимся наверх эскалатором, там лежал красный ковер и стояло белое пианино, а он, одевшись во фрак, играл по шесть часов в день, играл Шопена, Кола Портера и еще что-то вроде этого, и всё наизусть. В его распоряжении имелась элегантная табличка с надписью: «Наш маэстро на минутку отлучился»; выходя в туалет, он доставал ее и устанавливал на крышке пианино. Затем возвращался и вновь играл. Он был не так плох, как

другие папаши, я имею в виду, неплохой в том смысле, что... ну, он никого не бил, не пьянствовал, не трахал свою секретаршу, ничего такого, была еще машина... которую он не покупал, его тревожило, что машина будет слишком... слишком новой или чересчур красивой, он мог бы купить ее, но не делал этого; его тревожило это, не думаю, что у него имелся четкий план, просто для него это было естественно, – в общем, не покупал, и все тут. Он вообще не делал ничего такого, именно в этом и была проблема, понимаешь? Так и появилась эта проблема – не сделать этого, потом еще много чего, работать – и все, и он делал это, *как будто жизнь его обошла*, и из-за этого терял в своем мастерстве, терпел поражение, не хотел ничего проявить. Он был как черная дыра, какая-то бездна несчастий, а ведь это самая настоящая трагедия, а корнем всей трагедии было то, что он увлекал в эту дыру и нас: меня и мою мать; он с удивительным постоянством тянул нас туда – каждой минутой, каждым мгновением своей жизни, каждым движением он с упорством маньяка доказывал убийственную теорему, теорему о том, что если он и делал это, то *из-за нас – из-за нас* с матерью, в том-то и заключалась теорема, *из-за* нашего существования, *из-за* чувства вины перед нами обеими, *ради* нашего спасения, *из-за нас, ради нас*, каждый божий день он доказывал эту идиотскую теорему... Вся его жизнь с нами была непрерывным и бесконечным жестом, который он применял сознательно, самым жестоким и хитрым образом, то есть не го-

вора ни слова; он никогда ничего не сказал бы, ни слова не говорил об этом, хотя, ясное дело, мог бы и сказать, но не сказал бы никогда; это было ужасно, это было так жестоко – никогда ничего не говорить, а потом твердить тебе это каждый божий день – тем, как он сидит за столом, как смотрит телевизор, даже как бреется... И все эти гадости, которых он не совершал, выражение лица, с которым он смотрел на тебя... это было ужасно, и все, что ты мог сделать, – сойти с ума, и я сходила с ума; ведь я была совсем ребенком, беззащитным ребенком; дети – сволочи, но против чего-то они ничего не могут поделать; и если ударить ребенка, он ничего не может поделать, так и я не могла ничего сделать – только сходить с ума, тогда однажды мать взяла и рассказала мне про Еву Браун. Это был прекрасный пример. Дочка Гитлера. Мне было сказано, что я должна думать о Еве Браун. То, что получилось у нее, может получиться и у меня, сказали мне. Это был странный, но увлекательный рассказ. Мне сказали, что, когда он покончил с собой, проглотив цианистый калий, она сделала это вместе с ним, она была там, в бункере, и умерла вместе с ним. Мне сказали, что даже в худших из отцов есть что-то хорошее. И ради любви нужно научиться любить это в них. Я думала над этим. Я понимала так, что и в Гитлере есть что-то хорошее, и придумывала разные истории об этом: например, когда он возвращается вечером домой, уставший, говорит тихим голосом, вот он усаживается перед камином, пристально глядит на огонь, уставший до смерти, а

тут я, Ева Браун, да? Белокурая девочка с косичками и ногами в белых чулочках под юбкой; и я, не приближаясь, смотрю на него из соседней комнаты; а он так невероятно устал от всей этой крови, которая льется повсюду, он прекрасен в этой своей форме, глаз не оторвать; и вот кровь исчезает, и видна только усталость, необычайная усталость, и я восхищаюсь ею, а потом он оборачивается ко мне, видит меня, улыбается, встает и во всей своей ослепительной усталости, давящей на него, идет ко мне, прямо ко мне и пристраивается рядом: Гитлер. Хрен знает что. Он вполголоса говорит мне что-то по-немецки, а потом правой рукой тихонько гладит меня по голове, и какой бы леденящей она ни казалась, но рука у него была мягкая и теплая, нежная и приятная, как будто несла в себе какую-то внутреннюю мудрость, рука, которая могла тебя спасти, и, как бы отвратительно это ни казалось, это была рука, которую ты мог любить, а в конце концов и полюбил, представив, как прекрасно было бы, если бы это была правая рука твоего отца, такая нежная. Вот что я придумывала и прокручивала у себя в голове и всякое такое. Для тренировки, понятно? Ева Браун была моим тренажером. И со временем я преуспела. По вечерам я пялилась на своего отца, сидящего в пижаме перед телевизором, пялилась до тех пор, пока мне не удавалось увидеть Гитлера в пижаме перед телевизором. Чтобы сохранить образ, я какое-то время хорошенько впитывала его, стараясь сохранить немного расплывчатым, и возвращалась к своему папе, к его истин-

ному лицу: господи, он казался таким нежным, жутко усталым и совершенно несчастным. Временами возвращался образ Гитлера, а потом вновь – моего отца, они перемещались туда-сюда в моем воображении, и все же образ Гитлера был необходим, чтобы избежать постоянной пытки, молчания – в общем, всего этого дерьма. Это срабатывало. Кроме нескольких раз. Ну ладно. Через несколько лет я прочла в журнале, что Ева Браун была не дочерью, а любовницей Гитлера. Или женой, не знаю. Короче, спала с ним. Меня это потрясло. В голове у меня все перепуталось. Я пробовала заново разложить по полочкам все это, но как? Я не знала, что и делать. Мне так и не удалось стереть из сознания тот образ Гитлера, когда он подходит к малышке и принимается целовать ее и все такое. Отвратно. А малышкой была я, Ева Браун, и он становился моим отцом, такая вот путаница, просто ужас. И я не могла больше собрать эту головоломку, не было способа вернуть все на прежнее место, просто раньше это действовало, а потом перестало. Вот такой конец. Никогда больше я не хотела относиться к своему отцу иначе, до тех пор, пока он не «родился заново», как он выражался. Забавная история. Он родился заново в одно прекрасное воскресенье. Он все еще играл на пианино под эскалатором, а тут к нему подошла одна дама, увешанная драгоценностями и к тому же слегка навеселе. Он играл «*When we were alive*», а она танцевала прямо перед всеми с огромными сумками в руках и блаженным лицом. И так продолжалось примерно полчаса. А потом

она увела его за собой, и увела навсегда. Вот что он сказал дома: я родился заново. И честно говоря, я снова немножко полюбила его, потому что это было... ну, как освобождение, что ли, не знаю, он был еще причесан на манер латинского любовника, знаешь, такой пробор, словно высеченный на седых волосах, и в новой рубашке, и мне показалось, что по крайней мере на мгновение я его полюбила, как будто наступило освобождение. Я родилась заново. Годы домашней трагедии перечеркнуты одной дурацкой фразой. Глупо. Но так было много раз, все так же и так же, почти всегда: до самого конца обнажалась эта боль, вся эта боль, такая бессмысленная, просто животное страдание, такая бессмысленная, это не было несправедливо и не было справедливо; это не было прекрасно или же безобразно, просто *бессмысленно*, все, что ты в конце концов можешь сказать: боль была бессмысленна. Если подумать, то и свихнуться недолго, так что лучше об этом не думать вообще, это все, что ты можешь сделать: больше не думать, больше никогда, никогда, ясно?

– Вроде того.

– Вкусный гамбургер?

– Да.

Короче, как бы то ни было, ни Дизель, ни Пумеранг так никогда и не добрались до CRB, поскольку на перекрестке между Седьмой улицей и бульваром Вурдон, где они находились, прямо перед ними на середину тротуара выкатился каблук-шпилька от черной туфли. Кто знает, откуда он

прикатился, но теперь лежал неподвижно, словно крошечное препятствие в потоке людей, хлынувшем на обеденный перерыв.

– Черт побери, – сказал Дизель.

– А что это? – не сказал Пумеранг.

– Гляди, – сказал Дизель.

– Черт побери, – не сказал Пумеранг.

Они уставились на этот черный каблук-шпильку (было бы на что смотреть), а мгновение спустя – это было неотвратимо – перед их взорами вспыхнула изящная щиколотка в темном нейлоне, они увидели сбившийся *шаг*, именно шаг, поглощенный ритмом и танцем, и расчетливо-женственный, блестящий темный нейлон. Сначала они видели этот шаг в маятнике двух танцующих стройных ног, а потом – в легком маятниковом покачивании груди, стянутой блузкой и устремляющейся вверх, – брюнетка с короткой стрижкой, – подумал Дизель; – блондинка с короткой стрижкой – подумал Пумеранг. Ножки, гладкие и достаточно стройные, танцевали в таком ритме, что их взглядам уже представились женское тело, и человечество, и история, когда едва заметное неверное движение неожиданно сбивает шаг, еще шаг, и вот каблук начинает вибрировать, отделяется от туфли, и все происходит в том же ритме – женщины, человечества и истории; и этот ритм завершается каденцией, и воцаряется тишина.

Вокруг был большой бардак, но казалось, что ничто не могло вывести их из оцепенения. Дизель, еще более сгорб-

ленный, чем обычно, устоялся на тротуар; Пумеранг поглаживал левой рукой бритый череп – вперед-назад: правой рукой он, как обычно, уцепился за карман штанов Дизеля. Они разглядывали черный каблучок-шпильку, но на самом деле видели эту женщину, смущенную и замедляющую шаг, видели, как она, обернувшись на мгновение, произносит:

– Ё-моё, – даже не думая останавливаться, как сделала бы любая нормальная женщина, – остановиться, обернуться, поднять каблук, попробовать снова приладить его, опираясь на запрещающий дорожный знак... Она даже и не подумала сделать что-либо разумное, напротив, она продолжала идти, грациозно повторяя:

– Ё-моё.

В этот момент она легчайшим жестом скинула покалеченную туфельку и в неловкости вынужденной хромоты обнаружила подлинную красоту, а когда сбросила и другую туфельку, то и вовсе превратилась для этих двоих в миф – идет себе босиком в мерцающих темно-нейлоновых чулках, вот она берет туфельку и швыряет ее в синюю урну и уже оглядывается вокруг в поисках того, который тут как тут: желтый автомобиль медленно едет по улице, она поднимает руку, с запястья скользит вниз что-то золотое, желтый автомобиль направляется к ней, останавливается, она садится и называет адрес, одновременно подбирая тонкую ногу – босую стопу – на сиденье, задирается юбка, на мгновение сверкнет теплая перспектива кружевной подвязки и белого-белого бед-

ра, исчезающего на несколько сантиметров вглубь, а потом снова появляющегося в крае трусиков; этот проблеск длится чуть дольше, чем разряд молнии, и проникает в глаза мужчины в темном костюме, который с трудом плетется позади, теплая молния прилипает к сетчатке, распаляет сознание, и он валится на ограждение, словно под наркозом, уставший, давно женатый человек, валится, сопровождаемый грохотом металла и собственными стонами.

Вот так и получилось, что человек в темном связал Дизеля и Пумеранга по рукам и ногам, вернее, их затянуло в водоворот, они следовали за своим смятием, которое всколыхнуло их, так сказать, а водоворот вытолкнул довольно далеко, так что можно было видеть цвет женского халата – коричневый – и чувствовать вонь, доносящуюся из кухни. Они ухитрились сесть с ним за стол и заметили, что жена его преувеличенно громко смеется над шутками, сыпавшимися с экрана, в то время как мужчина в темном костюме наливал ей в стакан пиво, а для себя держал бутылку минеральной воды, теплой и негазированной, которую вынужден был пить годами, памятуя о четырех давнишних приступах почечных колик. Во втором ящике его письменного стола они нашли семьдесят две страницы незаконченного романа под названием «Последняя ставка» и визитную карточку с именем доктора Мортенсена с отпечатком лиловой губной помады на обороте. Радио-будильник был настроен на волну 102.4 – радио «Ностальжи», на ночном столике стояла лампа

с абажуром, чтобы свет был более приглушенным. Еще была брошюра «Детей Господа» с теоретическим обоснованием безнравственности охоты и рыболовства: заголовок, немного подпаленный лампочкой, гласил: *«Я сделаю вас ловцами людей»*.

Они продолжали рыться в нижнем белье госпожи Мортенсен, когда, по примитивной и вульгарной ассоциации, в крови вновь поднялось воспоминание о расчетливо-женственном блестящем темно-нейлоновом чулке – острое потрясение, которое вынуждает броситься назад к желтому такси и там, на обочине, оцепенеть от рокового открытия – рокового исчезновения желтого такси в сердце города; весь проспект заполнен машинами, но нет только желтых такси и волшебной сказки на заднем сиденье.

– Боже, – сказал Дизель.

– Исчезла, – не сказал Пумеранг.

На изогнутой поверхности черного каблучка-шпильки запечатлелись интерьер города, тысячи улиц, сотни слепых желтых машин.

– Проворонили, – сказал Дизель.

– Все может быть, – не сказал Пумеранг.

– Будто ищешь иголку в стоге сена.

– Ищешь, но не машину.

– Их тыщи.

– Не желтую машину.

– Машин слишком много.

– Не машину, а туфли.

– Куда она точно может поехать в желтой машине.

– Туфли. Обувной магазин.

– Она сказала, куда хочет поехать.

– Обувной магазин. Ближайший обувной магазин.

– Она посмотрела на таксиста и сказала...

– Ближайший обувной магазин. Черные туфли на шпильке.

– ...самый лучший ближайший обувной магазин.

– У Токсона, Четвертая улица, второй этаж, женская обувь.

– У Токсона, точно.

Они отыскиали ее перед зеркалом, в черных туфлях на шпильке, и продавец говорил:

– Лучше не бывает.

Больше они ее не теряли. Неизвестно, сколько времени они изучали ее жесты и предметы, ее окружавшие, словно проверяя их по запаху. Наконец появилось то, что они могли вдохнуть, когда, после бесконечного ужина, проводили ее до спальни. В постели лежал мужчина, который источал запах одеколона и беспрестанно слушал «Болеро» Равеля, кликая пультом управления. Перед кроватью стоял аквариум с лиловой рыбкой и дурацкими пузырьками. Он занимался любовью в благочестивом молчании: сперва положил золотое обручальное кольцо на ночной столик рядом с пятью заранее приготовленными фирменными презервативами. Она про-

водила ногтями по его спине достаточно сильно, чтобы он почувствовал, и достаточно нежно, чтобы не оставлять следов. На седьмом «Болеро» она сказала:

– Прости, – села на кровати, оделась, обула черные туфли на шпильке и вышла, не говоря ни слова. Последним, что они увидели, была тихонько закрытая дверь.

Шел дождь. Асфальт служил зеркалом для черного каблучка-шпильки, блестящий глаз смотрел на каблук и на зеркало.

– Дождь, – сказал Дизель.

Они подняли глаза: свет уже другой, серый, мало народу, шорох шин и грязные лужи. Размокшие туфли, вода затекает за воротник. На часах совершенно неудобоваримое время.

– Пошли, – сказал Дизель.

– Пошли, – не сказал Пумеранг.

Дизель шел с трудом, медленно, приволакивая левую ногу в уродливом ботинке, громадный, обремененный ногой, которая искривлялась ниже колена, едва сгибалась, скрючивая каждый шаг в кубистском танце. Он дышал тяжело, как велосипедист на подъеме, в гадком и мучительном ритме. Пумеранг знал наизусть каждый вдох и каждый шаг. Он вцепился в Дизеля и пританцовывал танго, демонстрируя усталость участника танцевального марафона.

Вот один и другой, рядом, полусгнившие куски города по пути, жидкий свет светофоров, машины едут на третьей скорости, производя шум сливного бачка, каблук на земле, все

более далекий, увлажненный глаз, без век, без ресниц, совершенный глаз.

Фото Уолта Диснея было чуть больше размером, чем снимок Евы Браун. Оно хранилось в рамке светлого дерева с гибкой подставкой сзади, на случай необходимости. Седоволосый Уолт Дисней, улыбаясь, сидел верхом на паровозике. Обычном детском паровозике с локомотивом и несколькими вагонами. Без рельсов и на резиновых колесиках. Паровозик из Диснейленда, Аннахейм, штат Калифорния.

– Ясно?

– Вроде того.

– В общем, он был самым великим, да, самым великим. Жуткий реакционер, если хочешь, но он умел создавать счастье, это был его талант, добиваться счастья, без больших сложностей, он старался для всех, величайший производитель счастья, никогда не виданного счастья, для всех карманов, на любой вкус; эти его истории про уток, и гномов, и кукол, подумай, как бы он делал их, и все же он устроил там большой бардак, что-то в этом роде, и потом тебя спрашивают, что такое счастье, даже если тебя от этого тошнит, ты должен допустить, что, пожалуй, это не совсем так, но какой у него вкус, характер, я хочу сказать, как говорят о землянике или малине, у счастья вот этот вкус, и пусть это подделка, пусть это не подлинное счастье, скажем так, настоящее; но это были чудесные копии, лучше оригинала, которые невозможно было...

– Хватит.

– Хватит?

– Да.

– Ну и как?

– Ничего.

– Пошли?

– Пошли.

Пошли? Пошли.

1

– До чего отвратный дом, – сказала Шатци.

– Да, – подтвердил Гульд.

– Совершенно отвратный дом, поверь мне. Если придерживаться точных формулировок точно, Гульд был гением. Чтобы установить этот факт, создали специальную комиссию из пяти профессоров, которые проэкзаменовали его в шестилетнем возрасте, тестируя три дня подряд. На основании параметров Стокена Гульда следовало отнести к разряду «дельта»: на этом уровне мыслительных способностей интеллект подобен чудовищной машине, границы возможностей которой трудно предсказать. Временно ему определили IQ, равный 108, число достаточно невероятное. Его забрали из начальной школы, где в течение шести дней он пытался казаться нормальным, и поручили группе университетских исследователей. В одиннадцать лет он стал лауреатом в области теоретической физики за работу по решению уравнения Хаббарда в двух измерениях.

– Что делают ботинки в холодильнике?

– Бактерии.

– То есть?

– Я изучаю бактерии. В ботинках лежат увеличительные стекла. Бактерии грамположительные.

– А заплесневелая курица – тоже дело бактерий?

– Курица?

В доме Гульда было два этажа. Восемь комнат и другие помещения вроде гаража или погребца. В гостиной лежал ковер – имитация тосканской кирпичной плитки, но поскольку он был толщиной четыре сантиметра, то в этом не находили ничего особенно хорошего. В угловой комнате на втором этаже находился настольный футбол. Ванная комната – вся красная, включая сантехнику. Общее впечатление было таким, будто это очень богатый дом, который ФБР обшарило в поисках микрофильма о том, как Президент трахался в борделях Невады.

– Как можно жить в такой обстановке?

– На самом деле я живу не здесь.

– Но дом ведь твой?

– Вроде того. У меня две комнаты в колледже, внизу, при университете. Там и столовая есть.

– Ребенок не должен *жить* в колледже. Ребенок не должен бы даже учиться в таком месте вообще.

– А что должен делать ребенок?

– Не знаю... играть со своей собакой, подделывать подписи родителей, останавливать кровотечение из носа, что-то в этом роде. Но уж конечно не жить в колледже.

– Подделывать что?

– Ладно, проехали.

– Подделывать?

– Хотя бы гувернантку... По крайней мере, могли бы

нанять гувернантку, твой отец никогда не задумывался об этом?

– У меня *есть* гувернантка.

– Честно?

– В каком-то смысле.

– В каком смысле, Гульд?

Отец Гульда соглашался, что ребенку нужна гувернантка, ее звали Люси. По пятницам, в девятнадцать пятнадцать, он звонил, чтобы узнать, все ли в порядке. Тогда Гульд подзывал к телефону Пумеранга. Пумеранг великолепно имитировал голос Люси.

– Но ведь Пумеранг немой?

– Вот именно. И Люси тоже немая.

– У тебя немая гувернантка?

– Не совсем. Мой отец считает, что я должен иметь гувернантку, оплата ежемесячно почтовым переводом, ну, я и сказал ему, что она очень хорошая, только немая.

– И он *по телефону* узнаёт, как дела?

– Да.

– Гениально.

– Срабатывает. Пумеранг великолепен. Знаешь, это разные вещи – слушать молчание звезд или молчание немого. Это разные виды тишины. Мой отец не дал бы себя обмануть.

– Должно быть, твой отец очень умный.

– Он работает на оборону.

– Уже слышала.

В день окончания Гульдом университета его отец прилетел с военной базы в Арпака и посадил свой вертолет на лужайку перед университетом. Собралась куча народа. Ректор произнес великолепную речь. Один из наиболее значительных отрывков был посвящен бильярду. «Мы смотрим на твои человеческие и научные свершения, дорогой Гульд, как на параболу мудрости, которую опытная рука Господня запечатлела на бильярдном шаре твоего разума, опуская его на зеленое сукно бильярда жизни. Ты – бильярдный шар, Гульд, и бежишь между бортами знания, вычерчивая безошибочную траекторию, по которой ты тихо катишься при нашем восхищении и поддержке в лузу славы и успеха. Скажу тебе по секрету, сынок, но с огромной гордостью, вот что скажу тебе: у этой лузы есть имя, эта луза называется Нобелевской премией». Из всей речи самое большое впечатление на Гульда произвела фраза: ты – бильярдный шар, Гульд. Поскольку он, ясное дело, был склонен верить своим профессорам, то сделал вывод, что его жизнь должна катиться как предопределено свыше, и позднее в течение многих лет он пытался почувствовать на своей коже ласковое прикосновение зеленого сукна и распознать в приступах внезапной боли травму от удара о ровные борта, геометрически точно рассчитанную. Неудачные обстоятельства – он выяснил, что детям в бильярдный зал вход воспрещен, – слишком долго мешали ему проверить, как в действительности позолочен-

ный его воображением образ бильярда мог бы превратиться в точную метафору ошибки и весьма убедительное обоснование точности, недоступной человеку. Вечер, проведенный «У Мерри», мог бы дать полезную информацию о непоправимом вмешательстве случая в любой геометрический расчет. Под дымчатым светом, тяжело падавшим на закапанное жиром зеленое сукно, он увидел бы лица, на которых, словно иероглифами, было написано поражение, утрата иллюзий, в которых гармонично сплетались желанное и реальное, воображаемое и факты. Для него не составило бы труда открыть в конце концов несовершенство мира, где в высшей степени невероятно распознать среди физиономий игроков торжественный и успокаивающий Божий лик. Но, как уже было сказано, «У Мерри» ты оказываешься только по предъявлении диплома, и это позволило прекрасной метафоре ректора – вопреки всякой логике – долгие годы оставаться нетронутой в воображении Гульда, подобно священной иконе, спасшейся от бомбардировки. Итак, эта икона внутри него оставалась нетронутой, но годы спустя неожиданно настал день, опустошивший его жизнь. Он даже нашел тогда время взглянуть на нее – сквозь все шрамы – пристально, любовно и безнадежно, прежде чем попрощаться с ней самым жестоким образом, на который он только был способен.

– А ты работаешь, Шатци?

– Нет, Гульд.

– Хочешь стать моей гувернанткой?

– Да.

За домом Гульда находилось футбольное поле. Гоняли мяч только сопляки, те же, кто постарше, стояли либо на скамейке запасных и вопили, либо на небольшой деревянной трибунке, где жевали и точно так же вопили. И перед воротами, и в центре поля росла трава, так что это было отличное футбольное поле. Гульд, Дизель и Пумеранг часами простаивали, глядя на него из окна спальни. Их интересовали игры, тренировки – словом, все, что попадало в поле зрения. Гульд вел записи, поскольку у него имелась собственная теория. Он был убежден, что каждому игроку соответствует точная морфологическая и психологическая конфигурация. Он мог распознать центрального нападающего, даже когда ему приходила замена или когда он надевал майку под номером девять. Его мощная фигура была запечатлена на фотографиях команд; Гульд исследовал их некоторое время, а затем мог сказать, в какой сборной играет вот этот усатый или кто был правым крайним нападающим. Он подсчитал, что погрешность равна двадцати восьми процентам. Он старался свести это число к десяти, используя каждую возможность, когда мальчики играли на поле у дома. Защитники доставляли еще больше хлопот, поскольку распознать их было относительно просто, а вот понять – правый это или левый – было уже затруднительно. Обычно правый защитник был

более крепок, но менее развит в психологическом отношении. При таком рациональном подходе он продвигался вперед в соответствии с логическими умозаключениями, вообще не позволяя себе фантазировать. Он подтягивал спадающие гетры и изредка сплевывал на землю. Левый же защитник, напротив, тянул время, принимая на себя атаки правого нападающего из другой команды, – особенно эффектный прием, совершенно неожиданный для противника, склонного к анархии, а следовательно, и к слабоумию. Правый крайний нападающий превратил свою часть поля в территорию без правил, единственной стабильной системой отсчета была боковая линия, белая полоса, начерченная мелом, около которой он кружил, как неизлечимый маньяк. Левый защитник – как защитник – был психологически устойчив, больше подчинялся порядку и геометрии и поневоле приноравливался к невыгодной для него экосистеме, а значит, изначально был обречен на проигрыш. Необходимость постоянно приспосабливать свои реакции к совершенно неожиданным схемам приговорила его к вечной душевной – а часто и физической – неустойчивости. Этим и объясняется его поведение: стремление отрастить длинные волосы, уйти с поля из чувства протеста и перекреститься, когда прозвучит свисток к началу матча. Короче говоря, отличить правого защитника на фотографии было практически невозможно. Гульду, правда, изредка удавалось.

Дизель разглядывал игроков, поскольку ему нравились

удары головой. Он испытывал необычайное удовольствие, когда с поля доносился удар по черепу, и каждый раз, когда это случалось, произносил: «Псих», каждый долбанный раз, с довольной физиономией: «Псих». Однажды мальчик внизу отбил мяч головой, мяч долетел до перекладины ворот и отскочил назад, мальчик вновь отбил его головой в центр ворот, нырнул вперед и принял мяч головой раньше, чем тот коснулся земли, он лишь слегка задел его и рухнул в воротах. Тут Дизель сказал: «Ну, натуральный псих». Все остальное время он говорил только: «Псих».

Пумеранг смотрел матчи, потому что искал зрелища, которое видел раньше по телику. По его мнению, оно было столь захватывающим, что не могло исчезнуть навсегда, определенно оно должно было бродить по всем футбольным полям мира, и он простаивал здесь, в ожидании того, что произойдет на этой детской площадке. Он выяснил количество футбольных полей, которые существуют в мире, – один миллион восьмьсот четыре – и прекрасно понимал, что возможность увидеть, как проходят все матчи, для него сводилась к минимуму. Но на основании расчетов, выполненных Гульдом, вероятность этого была чуть выше, чем, например, родиться немцем. Поэтому Пумеранг выжидал. Зрелище, если быть точным, состояло в следующем: затянувшаяся передача вратаря, центральный нападающий выпрыгивает на три четверти и пасует головой, вратарь противника выходит из ворот и бьет мяч на лету, мяч отлетает назад, за цен-

тральную линию поля через всех игроков, отскакивает от перекладины, минует ошеломленного вратаря и скрывается в сетке ворот, рядом со штангой. С точки зрения утонченного любителя футбола, речь шла о нелепой случайности. Но Пумеранг настаивал на том, что за формой чисто эстетической ему несколько раз доводилось видеть нечто более гармоничное и элегантное. «Это как если бы все происходило в аквариуме, – молча пытался объяснить он, – как если бы все передвигалось в толще воды, медленно и плавно, с мячом, неспешно проплывающим в воздухе, игроки неторопливо превращались бы в рыб, смотрели бы, разевая рты, вертели бы рыбьими головами вправо и влево, оглушенные и растерянные, вратарь всюду шевелил бы жабрами, в то время как мяч скользил бы мимо него; и вот наконец сеть хитрого рыбака ловит рыбу-мяч, все смотрят, чудесная рыбалка, молчание более абсолютное, чем бездна морская во всю ширь зеленых водорослей в белую полосу, сделанных водлазом-разметчиком». Шла шестнадцатая минута второго тайма.

Матч закончился со счетом два – ноль. Время от времени Гульд спускался вниз и занимал место на краю поля, за правыми воротами, рядом с профессором Тальтомаром. Десятки минут проходили в молчании. И никогда их взгляды не отрывались от поля. Профессор Тальтомар был уже в возрасте, за плечами у него были тысячи часов, отданных просмотру футбольных матчей. Сами матчи интересовали его

постольку-поскольку. Он наблюдал за арбитрами. Изучал их. Губами он всегда мял давно потухшую сигарету без фильтра и периодически прожевывал фразы вроде: «Далековато до игроков» или: «Правило преимущества, мудила». Частенько он качал головой. Он единственный аплодировал таким вещам, как удаление с поля или повтор штрафного удара. Он не сомневался в своих убеждениях, которые конспектировал в течение многих лет, комментируя любую дискуссию: «Руки на площадке всегда произвольны», «Положение вне игры никогда не вызывает сомнений», «Все женщины – шлюхи». Он считал вселенную «футбольным матчем без арбитра», его вера в Бога была своеобразна: «Это боковой судья, который выдал всем положение „вне игры“». Однажды в молодости, будучи полупьяным, он был выпущен на публику выполнять обязанности арбитра и с тех пор замкнулся в таинственном молчании.

Гульд считал его глубочайшее знание регламента заслугой, а не виной и приходил к нему за тем, чего не мог найти у выдающихся академиков, которые ежедневно готовили его к Нобелевской премии: за уверенностью в том, что порядок – единственное свойство бесконечности. Итак, между ними происходило следующее:

1. Гульд появлялся и, даже не здороваясь, устраивался рядом с профессором, сосредоточив взгляд на поле.
2. Десятки минут они проводили, не обменявшись ни словом, ни взглядом.

3. В какой-то момент Гульд, продолжая внимательно следить за игрой, говорил что-нибудь вроде: «Резанный пас справа, центральный нападающий передает мяч правому нападающему, влетает в центр перекладины, которая ломается надвое, ответный удар мячом к арбитру попадает между ног правого крайнего нападающего, который, лежа плашмя, пробивает прямо рядом со штангой, защитник блокирует мяч рукой, и потом его освобождает приходский священник».

4. Профессор Тальтомар неспешно вынимал изо рта сигарету и стряхивал воображаемый пепел. Затем сплевывал табачные крошки и тихо бормотал: «Матч приостановлен для ремонта перекладины со штрафными ударами хозяевам поля за небрежное содержание покрытия. По возобновлении игры – штрафные команде гостей и красная карточка защитнику. Дисквалификация на один день без предупреждения».

5. Далее они продолжали без комментариев, сосредоточившись на игровом поле.

6. На каком-то этапе Гульд произносил: «Спасибо, профессор».

7. Профессор Тальтомар, не оборачиваясь, бормотал: «Будь здоров, сынок».

Это случалось по меньшей мере раз в неделю.

Гульду очень нравилось.

Детям нужна уверенность.

И последнее, что происходило на этом поле. Важное. Каждый раз, когда Гульд сидел там вместе с профессором, мяч

катился за линию, прямо к ним. Каждый раз он подкатывался достаточно близко и останавливался в нескольких метрах от них. Тогда вратарь шел к ним и орал: «Мяч!» У профессора Тальтомара не дергался ни один мускул. Гульд смотрел на мяч, затем на вратаря, но оставался неподвижным.

– Мяч, пожалуйста!

Он застывал и смотрел в пустоту перед собой рассеянным взглядом, оставаясь неподвижным.

В пятницу в девятнадцать пятнадцать позвонил отец Гульда, чтобы выяснить у Люси, все ли в порядке. Гульд сообщил, что Люси уехала в прошлое воскресенье с представителем очень известной часовой фирмы, которого встретила на воскресной службе.

– Часовой фирмы?

– Или чего-то еще, типа цепочек, распятий, что-то в этом роде.

– Бог ты мой, Гульд. Нужно дать объявление в газету. Как в прошлый раз.

– Да.

– Сразу же дай объявление в газету, а потом воспользуйся анкетами, хорошо?

– Да.

– Но чтобы эта не была немая?

– Хорошо.

– А вы сказали часовщику?

– Она сказала.

– Она?

– Да, по телефону.

– Просто не верится.

– Ну.

– У тебя еще остались копии анкет?

- Да.
- Если дома нет, то сделай ксерокопии, о'кей?
- Алло?
- Гульд?
- Да-да.
- Гульд, ты меня слышишь?
- Теперь слышу.
- Если останешься без анкет, сделай ксерокопии.
- Алло?
- Гульд, ты меня слышишь?
- ...
- Гульд!
- Да.
- Ты меня слышал?
- Алло?
- Это помехи на линии.
- Сейчас я тебя слышу.
- Ты слушаешь?
- Да...
- Алло!
- Да.
- Что за хреновина с те...
- Пока, папа.
- Из какого дерьма делают эти... фоны?
- Пока.
- Из какого дерьма вы делаете эти телеф...

Клац.

Не имея возможности приезжать для проведения собеседований, отец Гульда составил для кандидаток анкету, которую собственноручно отредактировал и просил отправлять ответы почтой, оставляя за собой право выбора новой гувернантки для Гульда на основании полученных ответов. Анкета включала всего тридцать семь вопросов, но редкой кандидатке удавалось заполнить ее до конца. В основном все застреивали примерно в районе пятнадцатого вопроса (15. Кетчуп или майонез?). Впрочем, частенько они поднимались и уходили сразу после первого (1. Может ли кандидатка воспроизвести серию неудач, которые ей довелось испытать до сегодняшнего дня в состоянии безработицы, конкуренции за низкооплачиваемое место, невыносимой неизвестности?). Шатци Шелл расставила на столе снимки Евы Браун и Уолта Диснея, заправила в пишущую машинку лист бумаги и напечатала число 22.

- Прочти-ка мне что-нибудь из двадцать второго, Гульд.
- Вообще-то ты должна бы начинать с первого.
- Кто это сказал?
- Если есть номер первый, то всегда начинают с него.
- Гульд?
- Да.
- Посмотри-ка мне в глаза.
- Ну.
- Ты и в самом деле считаешь, что если вещи имеют но-

мера, и особенно номер один, то мы обязательно должны, и ты, и я, и все прочие, должны начинать именно с него, только по той причине, что это номер один?

– Нет.

– Ну и отлично.

– А какой ты хотела?

– Номер двадцать два.

– Двадцать второй. В состоянии ли кандидатка вспомнить самое прекрасное из того, что ей приходилось делать в детстве?

Замерев на мгновение, Шатци тряхнула головой и недоверчиво пробормотала: «Приходилось делать». Затем она принялась писать.

Когда я была маленькой, больше всего мне нравилось посещать Салон Идеального Дома. Он располагался в Олимпия-Холле, в огромном здании, похожем на вокзал, с громадной крышей в форме купола. Только вместо железнодорожных путей и поездов был Салон Идеального Дома. Не знаю, полковник, доводилось ли вам видеть. Салон проходил ежегодно. Невероятно, но все это было сконструировано в точности как настоящий дом, ты ходил по нему, чувствуя себя в стране грез, там были узкие улочки и фонари по углам, все дома были разные, очень опрятные и новые. Все было на своих местах: и занавески, и бульварчик, даже сады, – короче, это был мир твоей мечты. Сначала ты думал, что все это из картона, так ведь нет, все было построено из кирпича,

и даже цветы были настоящими, все было настоящим, здесь ты мог бы жить, мог подниматься по лестницам, открывать двери, это были самые настоящие дома. Очень трудно объяснить, но когда ты ходил там в глубине, то в голове у тебя были очень странные ощущения, что-то вроде грустного изумления. Ну, я хочу сказать, это были настоящие дома – и все, но потом, на самом-то деле, все настоящие дома оказывались разными. Мой, к примеру, был семиэтажный, с одинаковыми окнами и мраморной лестницей, с крошечными лестничными площадками на каждом этаже и повсеместным запахом хлорки. Прекрасный дом. Но эти были другими. У них были крыши странной заостренной формы, окна с эркерами, веранды спереди, винтовые лестницы, террасы, балконы и все такое. И фонарик над дверью. Или гараж с цветными воротами. Все это было настоящим и в то же время не было настоящим; возникало такое ощущение, что тебя водят за нос. Я сейчас вспоминаю – все было обозначено уже в названии: Салон Идеального Дома, но что ты понимал тогда в идеальных и неидеальных вещах. У тебя не было представления об *идеальном*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.